

*Е. В. Сидорова*

## ОБ ОТЦЕ\*

---

Известно, что родные и близкие выдающихся людей при жизни воспринимают их не как великих ученых, писателей или государственных деятелей, а как самых обычных смертных с массой недостатков, которых, может быть, даже больше, чем у менее одаренных людей. Это уже потом, осмысливая жизнь и деятельность такого человека, начинаешь припоминать те или иные слова и поступки, свидетельствующие о его неординарности, оригинальности, одержимости и, к сожалению, о полном неумении и нежелании щадить себя, приведших не достигшего 60-летнего возраста человека к нелепой смерти от инфаркта.

Писать о близком человеке всегда непросто: ведь все, что при этом вспоминается, проходит через призму твоего восприятия, а ты сам значительно мельче этого человека, и, значит, твои воспоминания могут умалить и исказить его истинный облик. Поэтому я долго не решалась приступить к этим коротким запискам. В то же время я понимаю, что остается все меньше и меньше людей, знавших отца не только по работе и могущих рассказать о том, как он жил и каким был в повседневной жизни. Умерли мама и бабушка, прожившие с отцом более 35 лет, ушли из жизни и многие друзья его юности. Не претендуя ни на какую особенную глубину и художественность изложения, я попытаюсь просто рассказать о том, где и как мы жили, когда отец был еще совсем молодым и никому не известным физиком, какая у нас была семья, какие вкусы и представления, радости и огорчения. Может быть, из этих разрозненных деталей у читателя возникнет более живой образ человека, чем если бы я старалась сознательно «вылепить» такой образ.

Мое первое отчетливое воспоминание об отце связано с нашей комнатой в небольшом доме на 3-й Мещанской. Утро. По-видимому, воскресенье. Отец лежит на низенькой самодельной кушетке на деревянных козлах, а я прыгаю у него на животе и требую сказку. Любимой была придуманная отцом сказка про «тобиасов». Кто это такие, ни я, ни, как выяснилось позднее, отец не знали. В сказке был страшный припев: «Придем, придем в избушку, съедим старика и старушку», произносившийся зловещим шепотом. В этом месте я, сколько помню, всегда пугалась, и отец, не дожидаясь рева, быстро придумывал какой-нибудь

---

\*Воспоминания о В. И. Векслере. М., 1987. С. 249–273.

незатейливый благополучный конец. После сказки следовала ритуальная игра в «бух», в которую, по-видимому, играют все папы мира со своими детьми. Отец подбрасывал меня вверх и «бух!» — ловил. Я восторженно визжала, а мама уговаривала прекратить это занятие, пока ребенок не упал и не разбился.

Еще из смешных воскресных сцен отчетливо помню «обезьяну». У нас дома была, да есть и сейчас, фарфоровая обезьянка, сидящая на корточках и почесывающая спину. Отец иногда изображал эту обезьяну. При этом он корчил жуткие рожи, прыгал по комнате и приговаривал что-нибудь смешное, совершенно несвойственное обезьянам, но имеющее непосредственное отношение ко мне или к маме. В молодости у него было даже домашнее прозвище «март» (от мартышки), которым он часто подписывал письма к маме.

Отец был маленького роста с некрасивым, но очень подвижным и выразительным лицом, чрезвычайно быстрый и в движениях, и в решениях. Он был очень остроумным человеком, способным на скорые и далеко не всегда безобидные реплики. Это давало маме повод напоминать ему известные строчки из «Горя от ума»: «Случалось ли, чтоб Вы, смеясь или в печали, ошибкою, добро о ком-нибудь сказали? Хотя не теперь, а в детстве, может быть...» Состязаться с отцом в спорах, даже шуточных, было очень трудно. С помощью логических, а иногда и чисто софистических аргументов он всегда ухитрялся доказать, что прав. Когда я стала постарше, я догадалась, что в спорах со мной он иногда «передергивает», но делает это так искусно, что не всегда удается найти подвох. Мама рассказывала, что в юности отец был отчаянным спорщиком и что переспорить его почти не удавалось. Родители росли и учились в такое время, когда очень модны были всякого рода диспуты. Отец был секретарем комсомольской организации в детской коммуне и, конечно, с великим азартом участвовал во всех этих словесных перепалках. Мама, которая училась с ним в одной школе (она была на три года моложе), вспоминала, что, помимо серьезных аргументов, отец обычно пускал в ход и свое остроумие, отнюдь не щадя при этом противников, поэтому спорить с ним было небезопасно и решались на это немногие.

Сказать по правде, в детстве я нечасто видела родителей. Уходили они на работу, когда я еще спала, а возвращались, когда я уже спала. Оба работали, по выражению моей бабушки, «как одержимые» и, опять же с ее слов, «ничего, кроме работы, знать не хотели». Эта одержимость сохранилась у них до самой смерти, и я считаю, что мне невероятно «повезло» в том, что значительную часть жизни я прожила с очень интересными людьми, по-настоящему увлеченными своим делом, на-

учившими меня не словами, а образом всей своей жизни относиться с глубоким уважением к творческому труду, понимать, насколько он интересен и в то же время сложен и требователен и какое это на самом деле счастье — найти в жизни любимое занятие.

В будни я оставалась с няней — Мариной Васильевной Козыревой, появившейся у нас, когда мне было около года, не имевшей своих детей и любившей меня как родную. Няня жила у нас вместе с мужем — дядей Ваней (Иван Никитич Козырев). Дядя Ваня тоже с утра уходил на работу (он был первоклассный столяр), и мы с няней целый день были одни. Когда няня на меня сердилась, то называла «золотце самоварное». Отцу очень нравилось это определение, и он меня часто поддразнивал, с самым серьезным видом расспрашивая, чем самоварное золото отличается от обычного.

По воскресеньям меня часто «подкидывали» бабушке — маминой маме, но иногда мы всей семьей отправлялись в зоопарк или просто в какой-нибудь парк, чаще всего в Сокольники. Кажется, мама неподалеку тогда работала. Поскольку я первым делом интересовалась, пойдём ли мы в кафе и купят ли мне лимонад, папа всегда надо мной подсмеивался и говорил, что у меня «все чувства проходят через желудок». Эта фраза прочно вошла в семейный обиход, и много лет спустя те же слова в аналогичных ситуациях повторялись уже моей дочке. Кстати, лимонад отец иначе как «отравой» не называл и удивлялся, как можно пить такую гадость, когда есть нарзан или боржом. Я, в свою очередь, не понимала, как это можно предпочитать воду такой вкусной вещи, как лимонад. С возрастом я перешла в «лагерь отца», но моей дочке, как когда-то мне, покупался по ее требованию, конечно, лимонад.

В детстве под влиянием рассказов и радиопередач о наших знаменитых летчиках: Валерии Чкалове, Марине Расковой, Валентине Гризодубовой и других — я мечтала стать летчицей. Помню, что отец дразнил меня, говоря, что «летчик — это тот же извозчик, только воздушный» (а извозчики, хоть и редкие, в Москве тогда еще были). Я страшно на него сердилась и спорила. Думаю, что на самом деле отец просто старался отучить меня слепо поддаваться моде и заставить думать и поступать самостоятельно, а не «как все». Его любимыми при сказками были: «Еще в Библии сказано, что дураков много» и «Голова дана человеку для того, чтобы думать, а не для того, чтобы забивать голы» (футбол отец не любил). Он всегда сердился, если я бездумно повторяла чьи-то чужие слова, и требовал собственного мнения.

Чрезвычайно характерным для отца было полное отсутствие «веры в авторитеты». Обаяние имени никогда не значило для него слишком много. Более того, он был убежден, что преклонение перед ав-

торитетами губит научную самостоятельность и творческую активность, и считал, что оно особенно вредно в молодости при становлении ученого, так как приводит к «научной импотентности». Правда, при этом он всегда добавлял, что тот, чью творческую активность можно таким способом задавить, ничего лучшего и не заслуживает и что толковый человек всегда пробьется. Я думаю, что это убеждение он вынес из собственного опыта и жизни окружавших его людей. Действительно, подавляющее большинство друзей его молодости стали известными и уважаемыми специалистами.

Только не подумайте, читая вышенаписанные строки об «отсутствии веры в авторитеты», что отец был этаким нигилистом и никого и ничего не признавал. Он с огромным уважением отзывался о весьма многих, как уже известных, так и не очень еще известных в те времена, физиках. С самого детства я знала имена Сергея Ивановича Вавилова, Дмитрия Владимировича Скобельцына, Абрама Федоровича Иоффе, Ильи Михайловича Франка, Игоря Евгеньевича Тамма, Льва Давыдовича Ландау, Сергея Николаевича Вернова, Павла Алексеевича Черенкова, Моисея Александровича Маркова и др. С признательностью вспоминал отец и своего преподавателя математики, фамилию которого я, к сожалению, сейчас уже забыла. Но уважение и даже восхищение каким-либо человеком никогда не ослепляли отца и не приводили к огульному приятию любых его высказываний или действий.

Я помню только одного человека, в отношении которого отец не допускал никакой критики, — это Сергей Иванович Вавилов. Отец не просто глубоко уважал, но и любил его. Он всегда говорил о нем как о «светлом Человеке».

Дом на 3-й Мещанской, в котором мы жили с 1933 или 1934 по 1940 г., раньше был конюшней. Он был построен из красного кирпича и стоял в глубине небольшого двора, посредине которого зимой делали горку из снега. Мы, малыши, катались с нее на санках, а ребята постарше — даже на лыжах. Во дворе часто гуляла большая и очень важная овчарка по имени Реджи. Если она делала что-нибудь непотребное, хозяин укоризненно говорил ей: «Реджик, фу!», и пес очень смущался. Отец взял эти слова «на вооружение» и время от времени применял их ко мне. Вообще дома существовало правило, по которому всегда полагалось говорить правду. Отец, смеясь, часто повторял: «Никогда не надо врать по пустякам». Если я что-нибудь натворила, но честно призналась, меня никогда не наказывали. Нужно прибавить, что рассказывать я должна была только о своих проступках, о провинностях моих друзей меня никогда не спрашивали. Не принято было и жаловаться на кого-нибудь. И мама и отец всегда отвечали: «Доносчику первый

кнут», а отец еще и учил «давать сдачи, если тебя обидели», но не плакать и не бежать к взрослым за помощью.

Наше жилье состояло из комнаты, в которой стояли моя и мамина кровати, папина кушетка, пианино, книжный шкаф и старенький письменный стол; кажется, был еще обеденный стол, но не наверняка. Свободного места практически не оставалось. В комнате было окно во двор. Из комнаты был выход в маленькую комнатку, вернее, коридор, в котором за занавеской стояла широкая нянина кровать, застеленная покрывалом с кружевным подзором (предмет моего тогдашнего восхищения; у нас были какие-то простые покрывала). Коридорчик выводил в кухню, которая и была основным местом пребывания в дневное время.

Комната, в которой мы жили, зимой отсыревала, на стенах появлялся лед. Именно там мама заболела туберкулезом легких. Я была еще совсем маленькой, когда мама (единственный раз на моей памяти) легла в больницу, и даже не сразу узнала ее после возвращения. До болезни у нее были длинные толстые косы, а из больницы мама вернулась коротко остриженной. Потом косы снова выросли и навсегда остались предметом моей горячей зависти, так как до самой маминой смерти они были ниже колен и в руку толщиной. Отец часто говорил: «Мама у нас красавица»; он очень гордился ею и особенно тем, что у нее не просто красивое, а «хорошее» лицо. Вообще отец всю жизнь относился к маме не просто с любовью, но и с глубоким уважением, говоря, что она «настоящий человек», а в его устах это была высшая похвала. Правда, он не отрицал, что у мамы «взрывчатый» характер. Однако единственные ссоры, которые я помню с детства, возникали только по поводу нежелания мамы лечиться и ездить в санатории; она их совершенно не признавала. Эти ссоры бывали очень шумными и горячими, так как отец и мама были «холериками» по темпераменту, и я, пока была маленькой, пугалась и даже начинала плакать. Став постарше, я поняла, что это не плохие, а «хорошие» ссоры, и принимала в них посильное участие, конечно, на стороне отца. Обычно они заканчивались какими-то неопределенными мамиными обещаниями поберечься, и в доме снова наступали мир и согласие (а в санатории мама так ни разу и не была).

Отец любил рассказывать, что в молодости, когда они с мамой только поженились и бродили где-то по Кавказу с компанией друзей, простая деревенская женщина, узнав, что маминым мужем является не самый высокий и красивый из всех мужчин, а, наоборот, самый маленький и невзрачный, внимательно на него посмотрела и, вздохнув, сказала: «Ну что ж, видать, человек хороший». Действительно, жили родители очень дружно, и детство у меня было поэтому счастливое.

Я была убеждена, что мне необычайно повезло с родителями, и со слов взрослых знаю, что в пять лет, строя планы на будущую жизнь, я соглашалась только на мужа, которого будут звать Володя и который будет «физик, как папа». Очень хорошо к отцу относилась и бабушка — Екатерина Алексеевна Сидорова, знавшая его со школы (она преподавала в этой школе русский язык и литературу). Она всю жизнь считала, что у отца «золотой характер» и что мама должна это ценить. И еще я помню старомодное выражение «великая любовь», которое всегда фигурировало, когда бабушка с кем-либо разговаривала о нашей семье. Нужно сказать, что и отец относился к бабушке с любовью и уважением. Он считал ее очень умным и хорошим человеком, всегда апеллировал к ней в спорах с мамой и, как правило, получал ее полную поддержку.

Жили мы, как я теперь понимаю, крайне скромно. Зарабатывали родители немного, и все деньги уходили в основном на еду. Еда тоже была простая. Почему-то больше всего мне запомнились щи и котлеты с картошкой, наверное, они готовились чаще всего. Вообще все это решала няня, родители в такие «мелочи» не вникали.

Отец очень любил сладкое, особенно клубничное варенье. В семье бытовало предание, что, только-только выкарабкавшись из брюшного тифа, от которого он чуть не умер, и получив банку варенья в передаче, он эту банку съел за один присест, чем немало перепугал и врачей и маму. Тиф был, когда я, по папиному выражению, «была лишь в проекте», так что я знаю об этом только по рассказам. Болел отец очень тяжело, врачи опасались за его жизнь. Надо сказать, что тиф не прошел бесследно. Отец не мог есть ничего жирного, острого, недоваренного. Это сильно осложняло его жизнь, особенно в экспедициях, в которые он ездил вплоть до 1950 г. и где «выбирать», естественно, не приходилось.

Еще одно из воспоминаний. Будний день. Почему-то отец дома, то ли болен, то ли по какой-то другой причине — не помню. Мама на работе. Няни тоже нет, так что мы вдвоем. Сначала все хорошо. Но затем к папе приходит какой-то незнакомый мне дядя, и они начинают обсуждать свои рабочие дела. Про меня оба забывают намертво. В разговоре фигурируют непонятные мне «варитроны» в сочетании с «братьями-разбойниками», более понятными, так как я знаю сказку «Али-баба и 40 разбойников». Все это продолжается бесконечно долго, без передышек и, главное, без какой-либо надежды на конец. В свои четыре или пять лет я уже знаю, что вмешиваться в разговоры взрослых не полагается. Однако все это так скучно и непонятно, что я наконец решаюсь и самым светским тоном, на который способна, спрашиваю: «Папа, а не

могли бы вы поговорить о чем-нибудь более интересном?» Пришедший дядя разражается хохотом, с моей точки зрения совершенно неуместным, а папа, фальшиво улыбаясь, так что я сразу понимаю, что сделала что-то ужасное, ласковым голосом говорит: «Поиграй еще немножко во что-нибудь, мы должны позаниматься».

После ухода дяди мне достается. Отец говорит, что я такая большая девочка и такая невоспитанная, что я его просто навек опозорила своим глупым замечанием, что они разговаривали вовсе не для моего удовольствия и что я им сильно помешала. Судя по тому, что я помню об этом до сих пор, меня вполне «проняло», и впредь в научные дискуссии отца с его коллегами я не вмешивалась. А разговоров было много. К отцу часто приходили его товарищи по работе, и поскольку все тогда были молодые, увлеченные и горячие, то дебаты бывали достаточно бурными. Со временем я узнала, что варитроны — это открытые братьями Алихановыми (Алихановым и Алиханьяном) частицы, в существовании которых фиановцы (а отец тогда уже работал в ФИАНе), мягко говоря, сильно сомневались.

Уже после смерти отца я познакомилась с одним из «братьев-разбойников» — Артемом Исааковичем Алиханьяном, который оказался интереснейшим человеком, очень живым, «заводным» и обаятельным, с большим уважением и теплотой отзывавшимся об отце и весело посмеявшимся над моим рассказом о том, каким я представляла его в детстве. Справедливости ради следует сказать, что и отец в зрелые годы с уважением отзывался о своих бывших оппонентах, но в молодости споры носили очень страстный и непримиримый характер. Да это и понятно, ведь речь шла об основном деле жизни этих людей, равнодушию здесь не могло быть места.

В гостях у Артема Исааковича я познакомилась как-то и еще с одним человеком, знавшим, как выяснилось, отца в детстве и юности, — Лилей Юрьевной Брик. Здесь я позволю себе рассказать о вещах, мало кому сейчас известных. У меня немного родственников, и почти все они с материнской стороны. Мать отца Регина Владиславовна умерла, когда мне было лет пять. Жила она отдельно с отчимом отца Николаем Михайловичем Швейцером, я ее видела очень редко и помню в основном по фотографии, которую очень люблю, так как на ней папа в юности.

Первый муж бабушки, Иосиф Векслер, умер в 1915 г., когда отцу еще не было восьми лет, так что «дедушку» я вообще видеть не могла. Однако с детства знала, что у папы есть дядя — Давид Петрович Штеренберг, которого папа очень любит. Изредка мы всей семьей ездили к нему в гости. Он был художником и жил на Масловке вместе со второй

женой Марусей и сыном Додиком, примерно моим ровесником. Давид Петрович очень ласково относился к маме и ко мне. Я до сих пор жалею, что мама, портрет которой он хотел написать, так и не выбрала для этого времени.

Давид Петрович был большим художником, хотя я поняла это значительно позже. Он родился в 1881 г. в Житомире. Живописью начал заниматься в индивидуальных мастерских художников в Одессе, а когда участились еврейские погромы (видевший их в детстве отец вспоминал о них с ужасом), выехал как политэмигрант за границу. Он долгое время жил в Париже и в Россию вернулся только после Великой Октябрьской социалистической революции осенью 1917 г. В 1919 г. он был назначен правительственным комиссаром по делам искусств и заведующим отделом изобразительных искусств Наркомпроса, ему первому из художников было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

В середине 30-х годов Д. П. Штеренберга зачислили в «формалисты», в связи с чем его картины долгое время вообще не выставлялись. Сейчас они экспонируются в Третьяковской галерее, Русском музее в Ленинграде и в ряде других музеев страны, несколько раз организовывались персональные выставки в Москве, а сравнительно недавно его полотна возили на выставку во Францию.

Когда мне было лет 12, Давид Петрович заболел и мы с мамой поехали его навестить. Почему-то разговор зашел о бабушках и дедушках. Я сказала, что читала книжку, написанную в молодости маминим отцом, на что Давид ответил: «Ну, второй дед у тебя тоже не хуже». На это я возразила, что второго деда не знаю, так как он давно умер. Давид удивленно посмотрел на маму, засмеялся и спросил: «Нина, неужели вы с Володей ей до сих пор ничего не сказали?», а затем объяснил мне, что он-то и есть мой второй дед с отцовской стороны. Поскольку Давид мне очень нравился, то меня это только обрадовало, хотя и вызвало, естественно, массу вопросов, которыми я мучила маму на обратном пути.

Дома родители рассказали мне, что бабушка — очень красивая в молодости женщина, — уже будучи замужем за инженером И. Векслером, полюбила молодого и талантливого художника Давида Штеренберга, который и стал папиным отцом. Поскольку в год папиного рождения он был вынужден эмигрировать за границу, ребенок получил фамилию Векслер, которую и сохранил на всю жизнь. В те годы эта история, по-видимому, была известна многим. Во всяком случае, Лиля Юрьевна Брик, когда меня представили ей как дочь Векслера, сразу же сказала: «А, так Вы дочь Володи, у меня есть очень хорошая картина



Вашего деда. Если хотите, приезжайте посмотреть». К сожалению, я все откладывала этот визит «на потом», а сейчас уже и не к кому ехать... С годами между отцом и Давидом усилилось и чисто портретное сходство. Глядя на их фотографии, нетрудно догадаться о близком родстве.

Отец любил живопись и хорошо разбирался в ней. Из старых мастеров он любил Рембрандта, Веласкеса, Ван Дейка, Леонардо да Винчи, а из поздних — французских импрессионистов. Я хорошо помню, как он и мама радовались, когда вновь открыли залы западной живописи конца XIX и начала XX в. в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и они смогли снова увидеть и показать мне любимые ими прекрасные произведения Ренуара, Моне, Сезанна, Ван Гога, Гогена и др., о большинстве из которых я знала только по рассказам. Из русских художников отец больше всех любил Серова и Врубеля.

У отца было то, что можно назвать «цветным видением мира». Он очень тонко чувствовал цвет и, описывая какие-либо свои впечатления, обычно всегда использовал цветовую гамму. По-видимому, ему передались по наследству какие-то способности к изобразительному искусству. Я помню, как он рассказывал, что еще совсем маленьким он нарисовал однажды мелом на асфальте какие-то дома, деревья и дорогу. И тут вдруг рядом с ним остановился совершенно незнакомый человек, посмотрел на рисунок, взял кусочек мела, быстро исправил несколько линий и показал, как надо нарисовать, чтобы появилась перспектива. Очевидно, что-то в неумелом детском рисунке привлекло его внимание.

Во взрослом возрасте рисованием отец никогда не занимался, но зато любил вырезать из дерева различные фигурки. У меня хранится вырезанный им лягушонок на листе кувшинки, подаренный когда-то маме. Бабушка рассказывала, что он переловил множество лягушат, которых пытался «уговорить» посидеть спокойно на листике, но они, конечно, упрыгивали. Так и пришлось ему вырезать готовящегося к прыжку лягушонка (чтобы не отступать от истины). Тем не менее деревянный лягушонок получился похожим на живого и очень симпатичным. К сожалению, времени для таких занятий у отца практически не оставалось. Все же как-то во время отпуска уже в 1959 или 1960 г. он вырезал из дерева нож для разрезания бумаг с рукояткой, увитой виноградной лозой, и, конечно, тоже подарил его маме.

Вообще в редкие часы отдыха на природе отец с удовольствием рассматривал разных букашек. Он мог долго наблюдать за пауком, изредка дразня его травинкой, подкармливать муравьев кусочками сахара, строить «баррикаду» для какого-нибудь трудолюбивого жука, волочащего добычу, и смотреть, как он ее преодолевает.

Особенно отец любил собак. Он без колебаний подходил к любому псу, как бы злобно тот ни выглядел, трепал его, гладил, и ни разу его ни одна собака не укусила. Отец совершенно всерьез был убежден в том, что собаки понимают, что он их любит и не боится, и поэтому они не кусают. Меня он тоже с самого детства научил никогда не убегать от собак и не бояться их. Хорошо помню, как за нами как-то увязался огромный лохматый пес, почти с меня ростом. Поскольку у нас при себе никакой еды не было, а пес явно был голоден, папа, оставив меня и пса на улице, зашел в булочную, купил белую булку (тогда они назывались французскими) и всю ее скормил псу, который в благодарность проводил нас до самой двери (это было, когда мы жили еще на Мещанской).

Многие старые сотрудники Института ядерных исследований в Дубне, вероятно, помнят нашего Балу, появившегося после гибели Ун-каса. Иногда он провожал отца до работы и затем лежал у него в кабинете. В Москве Балу любил сидеть в большом мягком кабинетном кресле отца. Помогавшая нам в те годы по хозяйству Дарья Тимофеевна (няня умерла от рака пищевода в 1948 г.), глядя на Балу, с важным видом восседавшего в кресле, со смехом говорила: «Ну чисто академик!» (А отец в то время уже был академиком.) Балу появился у нас незадолго до маминой смерти (1961 г.), он был целиком «папиным» псом и любил папу настолько, что когда отец куда-нибудь уезжал, то первые дни пес отказывался от еды и только лежал у дверей и ждал. После смерти отца (1966 г.) Балу переселился из Дубны к нам. Я помню, какое это было душераздирающее зрелище, когда несколько месяцев спустя как-то приехал к нам водитель отца — Михаил Петрович Арапов — и привез из Дубны какие-то папины вещи вместе с его портфелем. Балу облизывал портфель, «плакал» и никак не желал отойти, по-видимому надеясь, что вслед за портфелем появится и его владелец.

Я уже писала о том, что мы жили в очень сырой и темной комнате, где мама «заработала» туберкулез, а я за свои 6 лет успела пять раз переболеть воспалением легких. Надо сказать, что в те годы это была серьезная болезнь, так как хороших лекарств не было; сульфидин появился только перед самой войной, и достать его было трудно. Поскольку врачи в один голос предсказывали туберкулез и мне, если мы останемся в этой квартире, отец, который болезненно не любил обращаться с какими-либо личными просьбами к начальству, пересилил себя и обратился за помощью к человеку, которого он любил и уважал всю жизнь, — к Сергею Ивановичу Вавилову. С. И. Вавилов был в то время директором ФИАН. Он очень хорошо относился к отцу и сразу же обещал помочь. Действительно, в 1940 г. мы переехали из бывшей конюшни в роскошные апартаменты — четырехкомнатную квартиру в

академическом доме на улице Чкалова, где отец и прожил почти до самой смерти. Вместе с нами туда, естественно, переехали и няня с дядей Ваней.

У отца была непоколебимая убежденность в том, что просить о чем-нибудь для себя и использовать служебное положение в личных целях совершенно недопустимо и неприлично. В отношении собственной семьи эта установка работала безотказно. Зато за посторонних людей отец просить совершенно не стеснялся; к нему часто обращались за помощью по самым разным вопросам, и, насколько мне известно, если в его силах было помочь, он никогда не отказывал, причем первым его вопросом был: «А может быть, Вам нужны деньги?», независимо от того, были ли эти деньги у него самого или же ему надо было их где-то доставать. Через несколько лет после смерти отца мне позвонил совершенно незнакомый человек, спросивший, не нуждаюсь ли я в какой-нибудь помощи, и объяснил, что ему когда-то очень помог отец и сейчас он хотел бы, если сможет, чем-нибудь быть полезным его дочери. Приходили в то время и письма от незнакомых мне адресатов с выражениями благодарности отцу за помощь, о которой мне ничего не было известно.

Мама в шутку говорила, что к чужим отец относится гораздо лучше, чем к своим. В качестве характерного примера можно привести следующий. У отца по роду его работы довольно рано появилась служебная машина. Однако он никогда не разрешал использовать ее для каких-нибудь домашних дел. Я хорошо помню, как мама возила в рюкзаке продукты и вязанки дров из Москвы в Удельную, где мы с братом и бабушкой жили в 1945–1949 гг. на снятой даче, а попросту в сарайчике, дверь в который одновременно служила и окном.

Отец в те годы был так занят на работе, что к нам даже по воскресеньям практически не выбирался. Уже начиналось строительство в Дубне, обстановка была напряженная, отец без конца ездил из Москвы в Дубну и обратно, ему было не до нас. Он, конечно, понимал, что маме с ее больными легкими и тяжело и вредно ездить к нам по два раза в неделю после работы и возить необходимые припасы, тем более что от станции до дома нужно было еще минут 30 идти. Он часто уговаривал ее отказаться от «этой проклятой дачи» и оставить нас на лето в Москве, но о том, чтобы хотя бы раз отвезти ее и продукты на государственной машине, не было и речи. И как-то никого из нас это тогда не удивляло, и мама никогда на это не рассчитывала.

Родители надолго сохранили закалку «комсомольцев 20-х годов», и только много позже, став академиком и ученым с мировым именем, отец немного «помягчал» в этом плане и изредка разрешал своему води-

телю Михаилу Петровичу Арапову (очень хорошо к нему и к нам относившемуся и часто за нас ходатайствовавшему), куда-нибудь подбросить маму, а иногда даже и меня. Правда, до самых последних лет он все-таки предпочитал снабдить меня деньгами на такси, а не служебной машиной.

Совсем недавно мы с мужем вспоминали, что когда у меня родилась дочка и нужно было перевозить ее и какие-то вещи уже на снятую нами дачу в Малаховке, то перевозил нас товарищ мужа на своей старенькой машине. На той же машине мы, случалось, забрасывали туда и продукты; просить же машину у отца мы считали неудобным. Такое же «комсомольское» отношение у него и у мамы было и к другим вещам. Так, я помню, что, когда мы были детьми и работали на субботниках (воскресниках) и на огороде в пригороде Казани (почему-то это называлось «в обсерватории»), родители всегда внушали нам, что мы должны работать наравне со всеми, чтобы им «не пришлось за нас краснеть». Сам отец всегда норовил взяться за наиболее тяжелую работу, и мама очень боялась, что он надорвется, так как, честно говоря, физической силой в отличие от силы духа он никогда не отличался, хотя был очень ловок и изобретателен.

Наверное, еще стоит сказать о том, что меня с детства приучили к тому, что нет работы «черной» и «белой», а есть просто работа, которая может быть более или менее интересной и более или менее нужной. Отцу даже после того, как он стал академиком, ничего не стоило подхватить ведро с мусором и вынести его на помойку (у нас в доме нет мусоропровода) или «сбегать», как он говорил, в булочную за хлебом (причем он действительно почти бегал, во всяком случае, оборачивался быстрее нас с братом). Правда, бабушка всегда на это сердилась и говорила, что обойдутся и без него и что есть люди и помоложе, имея в виду нас, но отец только смеялся и говорил, что это совершенно не имеет значения и что его авторитет от этого, безусловно, не пострадает (и, конечно, был прав).

Отец до старости (если это слово применимо к человеку, не дожившему до 60 лет!) был чрезвычайно подвижным, «легким на подъем» и быстрым. Он прекрасно ходил по горам и любил горы. Только, к сожалению, с годами у него оставалось для этого все меньше и сил и времени. Он был фанатично влюблен в свои ускорители и все время отдавал им. Я помню, что он часто сетовал на то, что получил недостаточно хорошее образование и что поэтому ему необходимо постоянно учиться. Действительно, он занимался и вечерами после работы, и по воскресеньям. Характерно, что ему при этом совершенно не мешал шум. Он мог заниматься под разговоры, любил работать под тихую (фоновую) музы-

ку. По-видимому, он настолько погружался в занятия, что просто отключался от всего происходящего вокруг. В этом между ним и мамой была большая разница. Мама требовала, чтобы, когда она занимается (она была профессором, доктором исторических наук, зав. сектором истории средних веков и много работала дома), было тихо, а отец разрешал шуметь сколько душе угодно, чем мы с братом, к маминому неудовольствию, и пользовались.

Интересно, что наряду с постоянным стремлением «образоваться» отец был убежден в том, что избыток знаний вредит творчеству. Он считал, что людям, которые «все знают», сделать что-нибудь мешает «внутренний цензор», напоминающий либо о том, что нечто подобное уже сделано, либо о том, что существуют данные, противоречащие возникшей идее. В результате человек разоружается и пасует. А менее образованный исследователь, который не знает, что «такого быть не может, потому что не может быть никогда», оказывается в более выгодном положении. В частности, он утверждал, что принцип автофазировки он смог «выдумать» только благодаря тому, что был не так образован, как физики-теоретики. Это не относилось, разумеется, к идеям, противоречащим основным законам физики (вроде вечного двигателя, например), или к профессионально безграмотным начинаниям. Но все же отец считал, что творчеству способствует некий не максимальный уровень образованности, хотя сам всю жизнь стремился к последнему.

Устав от занятий, отец перед сном часто шел прогуляться по Садовому кольцу. Проходил он за вечер километров 5–8 быстрым шагом и утверждал, что когда ходит, то значительно лучше думает и вообще лучше себя чувствует. Это было уже в 50-е годы, когда здоровье его ухудшилось. Нагрузка у него была огромная, а способов отдохнуть очень немного, да и не умел и не хотел он отключаться от рабочих дел.

Годы были непростые, требования предъявлялись жесткие и далеко не всегда разумные, силы часто тратились не на дело, само по себе требующее огромного напряжения как нервного, так и физического, а на различные мешающие этому делу вещи. В качестве иллюстрации — выдержка из письма к маме: «Вообще недели две у нас абсолютно ничего не клеилось, можешь понять мое состояние. С одной стороны, меня не пускают на точку... а с другой стороны, тот самый прибор, который так хорошо работал раньше, вдруг перестал работать и начал черт знает что показывать. Я дошел до того, что ночи две совсем не спал (в довершение беды к нам на точку каждые два-три дня приезжал начальник и все спрашивал, как дела). Теперь все вошло, конечно, в норму, чудес на свете не бывает, но это я понимал всегда, а нервы были совсем не в по-

рядке вопреки пониманию. Оказалась тривиальная дрянь. Сейчас все исправили, и дело пошло как надо, но пришлось помучиться!» Такая была жизнь.

Помимо вечерних прогулок, способом отдохнуть было кино. Отец любил кино, но предъявлял к нему высокие требования. Если картина была плохая, ему ничего не стоило встать и уйти, если только мы «не пускали корешки», как он говорил, и не высиживали «до победного конца». В театре же на моей памяти он вообще был считанное число раз, хотя в молодости любил театр Мейерхольда, Камерный и, кажется, Вахтанговский. Я помню, как смотрела вместе с ним пьесу Брехта «Добрый человек из Сезуана» в Театре на Таганке. Я была в совершенном восторге, а отец, усмехнувшись, сказал: «Ну мы-то все это уже видели».

Музыку отец любил, но предпочитал слушать дома, а не в концерте. У него был абсолютный слух, он прекрасно свистел и мог насвистеть любой сложный мотив. У отца был какой-то удивительно красивый глубокий тембр свиста; когда я попыталась научиться, отец объяснил, что такой звук получается, если не выдувать воздух, а, напротив, втягивать его в себя. У него это получалось очень здорово. Когда я была маленькой, мама еще изредка играла на пианино, отец очень любил ее слушать и всегда просил сыграть еще. К нашему общему сожалению, постепенно за неимением времени мама совсем перестала играть. Пожалуй, камерную музыку отец любил больше симфонической. Он всегда с удовольствием слушал произведения Шопена, Моцарта, фортепьянные пьесы Бетховена, Шуберта, Шумана. У Чайковского любил балеты. Музыка Вагнера отца раздражала. В то же время он честно старался понять музыку Шостаковича, но быстро сдался и сказал, что он для нее устарел.

Я помню, как в Москве вдруг появились из-под полы пластинки с записями Вертинского (где-то в 50-е годы, незадолго до возвращения Вертинского на родину). Записан он был «на костях», так тогда называли самодельные диски из использованной рентгеновской пленки. Я услышала Вертинского впервые, а родители, как выяснилось, знали его романсы и многие из них любили. Я выучила понравившиеся мне песни и летом во время отпуска даже исполняла их для «узкого круга», тщательно стараясь сохранить интонации автора. По-видимому, это было не слишком плохо, так как отец, несмотря на достаточно скептическое отношение к моим «талантам», нередко просил меня «спеть Вертинского». Позднее, когда появился Окуджава, отец влюбился в его песни. Он считал Окуджаву самым талантливым из всех наших «бардов», хотя ему нравились и песни Новеллы Матвеевой, и песни Высоцкого. Из зарубежной эстрады отец признавал, по-моему, только Эдит Пиаф.

Я уже упоминала о том, что отец любил живопись. Мы не раз бывали вместе на различных выставках. Ходить с ним было очень интересно. У него был свой взгляд на вещи, далеко не всегда совпадающий с официальной точкой зрения. Так, он очень высоко ценил скульптуру раннего Коненкова и Голубкиной, которых я увидела значительно позже, поскольку долгое время их не выставляли и не пропагандировали, записав в «упадочное» искусство. Помню, как он и мама сокрушались по поводу того, что у нас совершенно не выставляют Шагала и Фалька — художников, произведений которых я в то время тоже не знала.

Отец был широко образованным человеком, хотя сам этого не считал. В юности он увлекался философией, читал Канта, Гегеля, Юма, серьезно штудировал труды Маркса, Ленина. Его интересовали соотношение живой и мертвой материй, возникновение в природе способности к ощущению, развитие сознания. Он показывал мне рассуждения на эти темы в «Философских тетрадах» В. И. Ленина, специально для меня купил книги Хасхачика «Развитие сознания» и Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики», считая, что будущий биолог обязан интересоваться этими кардинальными вопросами биологии. К сожалению, большую часть разговоров на эти темы я в свое время пропускала мимо ушей, так же как и обсуждение с мамой и ее коллегами вопросов, связанных с развитием культуры и религии и закономерностями исторического прогресса и социальных отношений.

Несмотря на занятость, отец всегда много читал и был в курсе практически всех литературных новинок. Правда, чтением «макулатуры» он никогда не занимался. В доме выписывались все основные журналы, как научные, так и художественные. Поскольку хорошую книгу или рассказ, естественно, хотелось прочесть всем как можно скорее, у нас существовало правило, по которому преимущественное право на чтение принадлежало тому, кто первый начал читать эту книгу. И если я, скажем, в отсутствие отца или мамы брала начатую ими книгу или журнал, то по первому требованию должна была ее отдать, как бы мне ни хотелось дочитать. То же самое делали и родители. Поскольку они были заняты значительно больше, чем я, то обычно мне везло и я успевала «застолбить» за собой право на первопрочтение, но, когда отец «клянчил» книжку, произнося разные «жалкие слова» о том, что у него больше не будет времени, мы все проявляли милосердие и уступали ему свои «права». Если вещь была интересной, то иногда отец прибегал к «нечестным» приемам и просто умыкал книжку в Дубну, чтобы там в спокойную минуту почитать. За это ему всегда доставалось, а он хитрил и говорил, что сделал это неумышленно, по рассеянности (которой он в других обстоятельствах вовсе не отличался).

Любимым поэтом отца всю жизнь был Пушкин. У нас дома был целый набор различных изданий «Евгения Онегина». Отец часто цитировал Пушкина и считал его одним из умнейших людей России. Из русских прозаиков он высоко ценил Льва Толстого, хотя раздражался назойливостью его нравоучений, и Чехова, повести и рассказы которого часто и с удовольствием перечитывал, открывая в них все новые и новые созвучные ему настроения и мысли. Из современных произведений отец выделял «Тихий Дон», очень любил вещи М. Булгакова, особенно «Мастера и Маргариту», с удовольствием читал Фазиля Искандера. Он восхищался также мощью поэтического дарования Маяковского, но читать его не любил. В последние годы отец полюбил стихотворения Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной. Из зарубежных писателей отец любил Стендаля, Шекспира, Мопассана, а из более поздних — Хемингуэя и Дос Пассоса. С ним было очень интересно обсуждать прочитанное, поскольку у него всегда был какой-то свой, нетривиальный подход и восприятие, подкрепленные, впрочем, вполне четкими аргументами, а не только эмоциями. Сплошь и рядом высказывания и замечания отца носили на первый взгляд парадоксальный характер, однако через несколько минут начинало казаться, что и ты думал точно так же; вообще убеждать он был великий мастер.

Перечитала я написанное и вижу, что у меня получилась унылая инвентаризация привычек и вкусов, далеко не отражающая и не исчерпывающая симпатий и антипатий живого, впечатлительного, умного и тонко чувствующего человека, умеющего образно мыслить, точно и остро формулировать свои мысли и ощущения, прибегающего иногда к сознательному эпатированию публики, страстного и неутомимого спорщика с неисчерпаемыми запасами сарказма, стремящегося всегда отстоять свою точку зрения, убедить противника и умеющего это делать. На самом деле ведь все пристрастия человека, и литературные, и музыкальные, и художественные, сложнее и противоречивее, чем об этом удастся сказать. Вот я пишу, что отец любил Стендаля, но ведь, кроме этого, он с удовольствием читал и многие другие вещи, совершенно непохожие на книги Стендаля: например, очень любил книгу Шодерло де Лакло «Опасные связи» и потратил много труда на то, чтобы ее достать, отдыхал на рассказах Честертона и Агаты Кристи, с наслаждением перечитывал стихи Киплинга и т. д. Вообще из «вещей» книги были его самой большой любовью. В доме никогда не жалели денег на книги, даже когда этих денег было совсем немного. Первая собранная родителями библиотека погибла во время войны. От нее остались только разрозненные тома сочинений Л. Толстого и Майна Рида и большой красный том стихотворений А. С. Пушкина (еще доре-



волюционное издание). После войны, как только появилась возможность, родители начали собирать новую библиотеку. По воскресеньям отец отправлялся в поход по книжным магазинам и возвращался обычно с увесистой стопкой книг. Много книг было куплено и на импровизированных книжных базарах.

Кроме книг, у отца было и еще несколько пристрастий. Так, он очень любил радиотовары; по-видимому, это было частью его любви к приборам вообще. У нас много раз менялись радиоприемники, дольше всех держался благородной формы «Телефункен», купленный в какой-то комиссионке. Однако и он уступил место, с моей точки зрения, куда более худшему «Люксу». По вечерам, уставший от шумного и напряженного рабочего дня, отец часто ложился на диван в столовой, включал радио и с наслаждением начинал крутить ручки, перебирая разные длины волн и диапазоны, пока не добирался до какой-нибудь устраивающей его мелодии, иногда классической, иногда легкой. После этого он на некоторое время оставлял приемник в покое и погружался в книгу, успевая в самые неожиданные моменты вставлять реплики в наши разговоры. Нам, впрочем, всегда казалось, что самое большое удовольствие отцу доставляет сам процесс кручения ручек. Как только выпустили первые телевизоры, маленький ящик появился у нас дома. Справедливости ради следует сказать, что первым его бросил смотреть сам отец. Но за маленьким ящиком тем не менее последовал ящик побольше, и я уверена, что если бы отец был жив, то сейчас у нас стоял бы уже огромный цветной телевизор.

Следующее пристрастие представляется мне совершенно удивительным. Отец, в общем глубоко равнодушный к вещам, почему-то любил ковры и, когда мог, покупал их. При наличии в доме собаки это было достаточно обременительно с точки зрения поддержания их в надлежащем состоянии. Проблема решалась просто: за коврами никто специально не ухаживал, их не берегли и обращались с ними, как с обычными дорожками и половиками. Еще отец любил меховые вещи. Свою самую первую денежную премию, полученную за какие-то усовершенствования физических приборов, он, не слушая никаких возражений, истратил на меховую шубу для мамы. Я не знаю, что это был за мех, вероятно какой-то недорогой, но помню, что шуба была очень мягкая, и я в детстве любила ее гладить. Маме с ее больными легкими эта шуба сослужила, конечно, большую пользу, она была теплой и легкой, и мама носила ее много лет.

Когда я поступила в университет, на очередную премию была куплена меховая шубка из мерлушки и мне. У самого же отца из «мехов»

была только бобровая «боярская» шапка, которую он много лет носил зимой с толстым ратиновым демисезонным пальто.

В остальном его вкусы были простыми. Он был совершенно непривередлив в еде. Многие годы по вечерам он регулярно съедал небольшую тарелку гречневой каши, которую очень любил, и выпивал стакан простокваши или кефира. Утром он обычно пил кофе и ел бутерброды с сыром или яичницу. Очень любил приготовленные мамой блинчики с творогом или вареньем и, как я уже упоминала, чрезвычайно любил сладкое. Он был основным «поставщиком» конфет, которые покупал во время вечерних прогулок на улице Горького. Из конфет он предпочитал шоколадный или театральный (были такие) наборы. Приезжая из Дубны, он обычно еще с порога спрашивал, «есть ли в доме что-нибудь вкусненькое», и, если не было, готов был идти за ним.

Обстановка в доме была простая. Основным предметом мебели являлись многочисленные книжные шкафы разных стилей, цветов и размеров, но все равно книгам не хватало места, и они лежали на всех плоских поверхностях, включая холодильник. Значительную часть площади занимали письменные столы. У мамы и отца было по большому двухтумбовому столу, у меня — тоже двухтумбовый, но поменьше (правда, заниматься и читать все почему-то норовили за большим обеденным столом). Посуда была самая обыкновенная, фарфоровая или стеклянная; никаких хрустальных ваз, салатниц или конфетниц не было. Поскольку отец любил пить чай из стакана, ему на день рождения часто дарили подстаканники, и в доме до сих пор хранится набор разных подстаканников, которыми редко кто пользовался.

Как это ни удивительно, я не помню никаких разговоров о бытовых неурядицах, которых, конечно, хватало. По-видимому, к ним относились как к досадным помехам, но никогда не поднимали «на принципиальную высоту». Зато все вопросы, касающиеся работы, горячо и подолгу обсуждались. Ближе к лету начиналось обсуждение летних планов. К сожалению, в послевоенные годы отец уже редко выбирался с нами в отпуск, так как в связи с ухудшением здоровья вынужден был отдыхать в санаториях, чтобы восстановить силы к новому рабочему году. Как он говорил: «Сейчас надо стараться не о том, чтобы стало лучше, а о том, чтобы не стало хуже». Мы же с мамой обычно проводили отпуск «дикарями-туристами» в горах, без которых мама не мыслила отдыха. На самом деле для ее здоровья горы вряд ли были особенно полезны, ей из-за больных легких было трудно быстро ходить, да еще с рюкзаком, и она сильно задыхалась на подъемах. Тем не менее она отдыхала там от городской сутолоки, очень любила горные снега и реки, и мы почти до самой ее смерти на месяц уезжали в горы,

чаще всего на Кавказ, в Теберду, которую она хорошо знала и любила с молодых лет, в Цей или Терскол. Отец же летом, как правило, работал, а в сентябре уезжал в Кисловодск.

Когда началась война, отец пошел в военкомат и подал заявление об отправке его на фронт. Меня с бабушкой, женой Сергея Николаевича Вернова, его маленьким сыном Юрой и их домработницей Марусей отправили в Сибирь, а мама осталась в Москве дожидаться, как решится вопрос с отцом. У них была договоренность, что если отец уйдет на фронт, то мама тоже подаст заявление в военкомат. Мы устроились в небольшой деревеньке под г. Омском и стали с нетерпением ждать письма от родителей. Наконец оно пришло. Отца на фронт не взяли. Ему было поручено как парторгу института обеспечить эвакуацию ФИАНа в Казань и в максимально короткие сроки наладить там работу на оборону страны. Мама поехала вместе с ним, а няня и дядя Ваня остались в Москве. Няня пошла на работу — шить для фронта. Летом 1942 г. мы с бабушкой тоже перебрались из Сибири в Казань.

К тому времени у меня появился взрослый брат, который был ровно на год и один день старше меня. Звали его Артур. Произошло это следующим образом. По приезде в Казань мама поступила на работу в Институт истории. Когда немцы подошли к Москве, под Казанью тоже начали возводить линию обороны и рыть окопы. Активное участие в этих работах приняли сотрудники Института истории. Поехала туда и мама, несмотря на то, что по состоянию здоровья ей это было совершенно противопоказано: в начале войны у нее началось сильное обострение туберкулеза. Отец пытался ее удержать, но не смог (хотя, как гласило предание, разбил единственную имевшуюся дома тарелку).

Жили «на окопах» люди чрезвычайно тяжело, в условиях, конечно, абсолютно неподходящих для больного человека, и примерно через месяц маму оттуда вывезли. Но за это время она подружилась с семьей Сагадеевых, которые были «на окопах» с девятилетним сыном Артуром. Мать Артура Нафиса, очень милая женщина, тоже была некрепкого здоровья. Вскоре по возвращении в Казань она заболела сыпным тифом и умерла, а спустя неделю от тифа умер и отец Артура Сагеджан. Мальчик остался в семье тетки, жившей с сыном Накием, работавшим на одном из заводов (ему было лет 18). Старший брат Артура Марс в то время находился на Севере в морском училище. Родители очень жалели мальчика, за одну неделю лишившегося и отца и матери, и предложили Артуру жить у них. Сначала Артур отказался.

Однако жизнь у тетки оказалась голодной и тяжелой, у мальчика началась куриная слепота от недоедания, и тогда он сам пришел к маме и сказал, что будет у нее жить. Родители тогда же усыновили Артура, и

до 16 лет он носил фамилию отца, а при получении паспорта в 1947 г. взял свою родную фамилию. Отец, детство которого было не слишком счастливым, очень жалел Артура и позволял ему гораздо больше, чем мне. Мотивировка была одна: «Он сирота, а у тебя есть отец и мать». На этом основании я должна была отдавать Артуру свои карандаши (он прекрасно рисовал), книги, игрушки... А тогда, в войну, всего этого было очень немного, а мне было всего восемь лет, и я часто считала себя несправедливо обиженной. Конечно, по-настоящему понять, как плохо моему приемному брату, очутившемуся без родных, в семье с совершенно непривычным для него укладом жизни, я тогда была не в состоянии, но отцу это как-то не приходило в голову, и он на меня сердился «за черствость». Вообще воспитателем он был неважным. Мама была и значительно строже, и гораздо справедливее к нам обоим, и, повзрослев, Артур это прекрасно понял и всю жизнь относился к маме с любовью и глубоким уважением.

Отцу никогда не хватало терпения объяснить спокойно какую-нибудь не получающуюся задачу по физике или математике. Он быстро начинал раздражаться и недоумевать, как это можно не понимать таких простых вещей, а это, естественно, приводило к тому, что, обидевшись на его язвительные замечания и заупрямившись, мы вообще переставали понимать что-либо, и дело, как правило, кончалось ссорой. Может быть, в конечном счете это оказалось даже полезным, так как я предпочитала помучиться подольше самой, но не обращаться к нему за помощью и в конечном счете проклятая задача как-то решалась. Возможно, по тем же причинам отец не любил и читать лекции. Он всегда говорил, что для него это сущее наказание. В отличие от него мама любила преподавательскую работу и, даже став заведующим сектором истории средних веков в Институте истории АН СССР, не оставила чтение лекций в МГУ. Я помню (уже в бытность мою студенткой биофака), что на ее лекции ходили не только истфаковцы, но и студенты с других факультетов, так хорошо она читала.

Но вот если спрашивать отца о примитивных задачах было бессмысленно, то обсуждать с ним интересующие меня вопросы биологии было не только интересно, но и полезно. Несмотря на то, что «моя» наука была от него, казалось бы, очень далека, он интуитивно улавливал, что правильно или неправильно, интересно или не очень. Так, в самом начале моих занятий иммунохимией отец, услышав, что я придумала некое парадоксальное объяснение одного непонятного явления, убедил меня отнестись к этой мысли «не как бандерлог» (обезьянье племя из «Маугли»), а серьезно и попытаться найти способы ее экспериментальной проверки. Действительно, сейчас эти исследования превратились в

самостоятельное направление и являются одной из тем, изучаемых в моей лаборатории.

Будучи настоящим ученым, отец необычайно быстро улавливал «фальшь» в, казалось бы, далеких от него областях науки.

Отец был очень скромным человеком. Он, конечно, понимал свою незаурядность, но я никогда не видела, чтобы он чванился своим положением или пришедшей к нему известностью. Он никогда не стремился использовать ее для получения каких-либо материальных благ. У нас не появилось ни собственной машины, ни дачи, ни каких-либо ценностей. У мамы никогда не было ни золотых цепочек, ни колец, ни серег — в те годы, когда формировался духовный мир родителей, это было совершенно не принято и считалось мещанством. Я помню, что в детстве, если я восхищалась увиденными на ком-нибудь украшениями — бусами, брошками, отец всегда говорил: «А как насчет кольца в нос?» Правда, с возрастом он стал относиться к этому вопросу более философски и даже как-то подарил нам с мамой по гранатовой брошке (но обычно маме в день рождения он неизменно дарил цветы — розы или корзину с белой сиренью).

Сколько я себя помню, основное время и силы у отца уходили на работу. Он не «выключался» даже во время отдыха. Недавно Артур вспоминал, как мы с папой не то 1, не то 2 мая гуляли по улице Горького и уже свернули на Садовое кольцо в сторону дома, как вдруг по улице понеслись пожарные машины в сторону Белорусского вокзала. Отец бросил нас и бегом помчался в ФИАН (тогда институт помещался еще недалеко от Белорусского), хотя вероятность того, что машины мчатся именно в ФИАН, была ничтожной. Действительно, институт стоял как ни в чем не бывало, но реакция отца была совершенно типичной. Из Кисловодска, где он лечился, он писал маме, упрекавшей его в том, что вместо спокойного отдыха и лечения он регулярно звонит на работу и выясняет, как идут дела: «Неужели ты хочешь, чтобы я в один прекрасный день вдруг взял и полностью забыл о том, что делаю в последние 10 лет моей жизни, чтобы это меня вдруг, по щучьему велению, перестало интересовать, беспокоить, радовать или печалить! Что ж я был бы в этом случае за человек? И какой вред для моего здоровья в том, что я узнаю, как идут дела на работе?.. Я не могу руководить на расстоянии 1200 км, да и надеюсь, что в этом нет никакой необходимости, не говоря о возможности. Однако знать, как идет дело, хотя бы в двух-трех словах мне хочется и нужно. Ведь я еще человек, а не покойник!»

Чрезвычайно характерны и следующие строки: «Больше всего меня, пожалуй, расстраивает то, что я совершенно не хочу работать, т. е. читать и учиться, и даже думаю о «своем» очень плохо, урывками и

без всякого желания. Это, пожалуй, болезнь похуже всякого «пищика»... Увы, хорошего здесь мало. Кроме головы, у меня ничего нет, а если нет желания работать головой... Эта перспектива в принципе очень страшная». Надо учесть, что это написано человеком, которому врачи незадолго до этого поставили страшный диагноз — рак пищевода («пищик»). С этим ужасом мы жили несколько месяцев, пока отца не посмотрел профессор М. С. Вовси, который снял роковой диагноз и объяснил, что болевые симптомы и сужение пищевода являются результатом колоссального нервного перенапряжения и могут быть почти полностью сняты при отдыхе и разумном образе жизни (к чему отец, как и мама, увы, был совершенно неспособен).

Отец, как и мама, очень любил горы и почти до самых последних лет прекрасно ходил и лазал по скалам. В Кисловодске он обычно тоже «бегал» на Большое седло (и на Малое — сразу) почти каждый день и гордился тем, что в свои 58 лет добирается от речки до верха за час сорок, а обратно вниз — за час. Он был очень цепким и всегда со смехом говорил, что лазает немного хуже обезьяны, и то исключительно из-за отсутствия хвоста. В молодости у него было очень хорошее сердце. «Сорвал» он его, по-видимому, на Памире, где в течение ряда лет был начальником высокогорной экспедиции, занимавшейся изучением космических лучей. Сам он считал, что это произошло, когда в один редкий свободный день пошли целой группой на какое-то восхождение (на ~ 6000 м). В числе участников был Дмитрий Иванович Блохинцев. При спуске Д. И., опытный альпинист, никого не предупредив, решил идти своим путем, который ему казался короче. Однако когда группа под руководством отца спустилась с вершины, Блохинцева внизу не оказалось. Отец страшно встревожился и, не передохнув, отправился снова вверх на поиски. За это время Д. И. успел вернуться в лагерь и даже лечь спать, а отец сильно перенервничал, да и физически очень устал. С этих пор у него появились боли в сердце. Правда, сам он считал, что они носят главным образом «нервный» характер и что для улучшения самочувствия ему ни в коем случае нельзя ложиться, а надо, напротив, побольше ходить. Лечиться он, как и мама, терпеть не мог, и врачи из поликлиники АН СССР всегда были на него в обиде за отказ проходить ежегодную диспансеризацию и выполнять различные их предписания.

Следует сказать, что условия жизни на Памире и сами по себе были достаточно тяжелыми. Приходилось заниматься не только наукой, но и «строить дома, сколачивать столы, заряжать и таскать аккумуляторы» (из письма к маме) и при этом решать еще кучу самых разных снабженческих вопросов (хлеб, например, на станцию доставляли за

25 км). Если учесть к тому же, что вся жизнь протекала на высоте около 4000 м, то станет ясно, что и без дополнительных нагрузок было нелегко.

Отец очень скучал на Памире без мамы, но боялся брать ее с собой из-за легких. Практически во всех письмах той поры он пишет, как ему хотелось бы, чтобы мама была с ним. У меня сохранился замечательный кусок горного хрусталя, который он привез из одной экспедиции маме в подарок. Искал он этот камень, как было написано в письме, «специально для тебя в течение многих часов на высоте 4700». В конце концов мама убедила его, что высота для нее не так опасна, поскольку воздух на восточном Памире очень сухой, и три раза ездила с ним на месяц-полтора в свой летний отпуск. Два раза брали туда и меня (в 8-м и 10-м классах). При этом, чтобы я не «сидела без дела, когда все работают» (а работали там с утра и до ночи практически без выходных), отец приспособил меня сначала паять аккумуляторы (это получалось «так себе», и таскать их было очень тяжело), а затем проявлять бесчисленные пленки (это оказалось более доступной мне работой, хотя и не слишком интересной). На Памире рядом с физической станцией находилась биостанция, с начальником которой Олегом Вячеславовичем Заленским отец очень подружился. Я рассматривала на биостанции занятые образцы высокогорных лишайников и растений и с удовольствием вслушивалась в научные разговоры биологов.

Отец прекрасно играл в настольный теннис, называвшийся тогда пинг-понгом. Поскольку он был маленького роста, стоять далеко от стола ему было крайне невыгодно. Поэтому он стоял почти вплотную к столу и молниеносно отражал шарик. У отца была необычайно быстрая реакция, пожалуй самая быстрая по сравнению со всеми, кого я знаю. Казалось, шарик еще не коснулся стола, а отец уже точным и резким ударом, да еще и с подкруткой, посылал его в угол противника, а затем также молниеносно в противоположный. Это называлось «раскладывать шарик по углам». Глазомер у отца был очень хороший, хотя он и носил очки, и мячик всегда попадал на стол. В большинстве случаев реакция партнеров оказывалась намного медленней и отец неизменно выигрывал.

На Памирской станции игра в пинг-понг была одной из главных форм отдыха после напряженного рабочего дня. Там всегда было много молодежи, так как на станцию брали студентов-физиков. Обычно после нескольких партий, в которых отец оказывался победителем, ребята принимали «жесткое» решение о том, что чемпион «вылетает» после трех игр, иначе отец простаивал за столом весь вечер. Он пытался возражать, но бывал вынужден подчиниться большинству (то, что он начальник, никакой роли не играло). Зато какое бурное ликование

поднималось среди молодежи, когда кому-нибудь удавалось «выставить» отца. Несмотря на родственные связи, я, грешным делом, этому тоже радовалась: меня-то он практически всегда обыгрывал, да еще и издевался при этом! Изредка у него умудрялась выиграть мама, я думаю, потому, что адаптировалась к этой противной манере «тыка мяча» с молодости. Отец страшно гордился быстротой реакции и тем, что его почти никто не мог обыграть, а соперники, среди которых были даже перворазрядники, доказывали ему, что он играет совершенно не по правилам, а как варвар, но выиграть, как ни старались, не могли, потому что отец всегда «навязывал» свою манеру игры. В молодости отец, кажется, хорошо играл в крокет, хотя, по маминым словам, отчаянно жульничал и спорил. При мне этой игры уже не было.

Из интеллектуальных игр он любил шахматы, и в детстве я часто наблюдала, как после длительных и горячих споров о своих рабочих делах папа с пришедшими к нему товарищами садились за шахматы и с не меньшим упоением допоздна играли. Еще отец очень хорошо играл в «слова», набирая благодаря своим незаурядным способностям к комбинаторике максимальное количество осмысленных буквосочетаний. Но вообще со мной и братом в детстве отец возился мало. На наших детских праздниках (елках, днях рождения) он обычно не бывал, и устраивали их мама и бабушка, которая была прирожденным педагогом и очень любила возиться с детворой.

Из домашних обязанностей на отце лежала одна — чинить перегоревшие пробки и перегоравшие электроприборы (на правах бывшего электромонтера). Я помню, что, приезжая из Дубны, он с удовольствием возился с какой-нибудь испортившейся настольной лампой или торшером и бывал страшно горд, когда исправлял их. С энтузиазмом брался он и за починку будильников. Обычно дело начиналось с их полного демонтажа. Почему-то при сборке всегда оставались «лишние» винтики. Отца это не очень смущало, но я не помню случая, когда вновь собранный будильник заработал бы. С электроприборами дело обстояло много лучше, что доказывает пользу профессионализма!

Будничные дела, связанные с обуванием, одеванием, кормлением и уборкой, лежали на маме и няне. Характерно, что, совершенно не интересуясь нашими домашними делами, отец всегда входил в аналогичные заботы окружающих и делал это с видимым удовольствием. Я помню, что мы все порой сердились на готовность отца помочь совершенно посторонним людям при полном равнодушии к собственным делам и даже называли его лицемером, однако от этого ничего не менялось. Он был глубоко убежден, что у нас все в порядке и его вмешательства не требуется или же что мы вполне можем справиться сами.



Думаю, что маме это сильно усложняло жизнь, но она всегда стремилась создать отцу оптимальные условия для спокойной работы и не отвлекать его на мелкие повседневные заботы. Конечно, огромную помощь по дому ей оказывала няня, а после выхода на пенсию и бабушка. Фактически мы с братом выросли под ее присмотром.

Отца с трудом удавалось «вытащить» для покупки каких-нибудь вещей для него же. Он приводил массу доводов в пользу того, что ему ничего не нужно, и всегда утверждал, что в старой одежде чувствует себя значительно лучше, чем в новой. Из смешных штрихов вспоминаю его любовь к обычным резиновым галошам. Однажды, уже будучи академиком и приехав на какое-то «высокое» заседание, он, оставляя свои любимые галоши в гардеробе, попросил поставить их так, чтобы их никто не спутал со своими. На это гардеробщик со смехом сказал ему: «Да что Вы, таких галош, кроме Вас, в Москве ни у одного человека нет». Отец приехал домой и очень веселился по этому поводу, но от галош не отказался.

Постоянное огромное нервное и умственное напряжение и накопившаяся физическая усталость привели к тому, что в последние годы отец стал чувствовать себя все хуже и хуже. Поездки в Кисловодск и короткие передышки в подмосковном санатории «Узкое» на некоторое время возвращали отцу силы и работоспособность, и он все их, как и в молодости, вкладывал в свое новое любимое детище — когерентный ускоритель. Он часто повторял, что это гораздо лучше синхрофазотрона, и радовался, что «голова у него еще работает!». Много сил отнимали у него и различные умножившиеся общественные и административные дела. Последние он очень не любил, но заниматься ими был вынужден «для пользы дела». Я знаю, что до самых последних дней своей жизни он думал над физическими задачами, хотел, как он говорил, «успеть еще хоть что-то сделать в жизни». Он очень надеялся на своих учеников, среди которых много одаренных физиков, продолжающих и развивающих сейчас его дело.

Я ничего не пишу о полученных отцом наградах и ученых степенях. Для него это никогда не было главным, хотя, конечно, как каждый человек, он радовался признанию. Однако самой большой радостью для него являлось творчество. Всю свою жизнь он «боролся и искал, находил и не сдавался».